

Шведские пролетарские писатели поначалу приняли декадентскую интерпретацию Достоевского; им был чужд писатель, якобы проповедующий непротавление социальному злу и покорность судьбе. Так, романистка М. Мартинсон (Moa Martinson) писала: «... вероятно, опасно читать Достоевского и ходить батрачить за две кроны в день, в то время как пятеро малышей в одиночестве просиживают дома целые дни; я знаю это, потому что брала „Братьев Карамазовых“ в библиотеке и читала понемногу каждый вечер, а суставы ломило от копания картошки, в ушах гудело от грохота молотилки и в животе бурчало от голода. Я видела, как малыши становились все худее и бледнее, но находила, что это в порядке вещей. Людям и следовало страдать, мужчинам — все пропивать, а женщинам и детям — умирать от голода, после того как они последний грош бросят перед ликом божьей матери».¹⁸

Но вскоре писатели эти отошли от односторонней оценки Достоевского. Близкий к рабочему движению новеллист М. Кох (Martin Koch, 1882—1940) к Достоевскому, как и другие пролетарские авторы, пришел не сразу, но, раз оценив его, до конца дней своих пребыл его поклонником. Когда Кох издал свой психологический роман «Рабочие» («Arbetare», 1912), то, по его словам, «один критик писал, что там было нечто от Достоевского. Я был тогда сравнительно молод и огорчился, но это привело к тому, что я впервые начал читать Достоевского. И мое огорчение сменилось безграничным уважением к нему или, правильнее сказать, восторгом перед ним. Сейчас я считаю его одним из величайших поэтов человечества. И мне лестно было бы услышать суждение, что в моих сочинениях что-то напоминает о нем».¹⁹ По мере развития пролетарской литературы, роста ее художественного мастерства, авторы, связанные с рабочим движением, все внимательнее приглядываются к социально-критическому, эстетическому и морально-психологическому опыту русской литературы в целом и к творчеству Достоевского в частности.

¹⁸ Linder E. Hj. Fyra decennier av nittonhundratalet. Stockholm, 1858, s. 688.

¹⁹ Sundström E. Radikalism och religiositet. En studie av tidsattityd och idébakgrund i Martin Kochs diktning. Stockholm, 1961, s. 89.

И. М. КАТАРСКИЙ

ДОСТОЕВСКИЙ И ДИККЕНС

(1860—1870-е годы)¹

1

Полосой особенного увлечения Диккенсом в России были 1840-е годы — гоголевский период русской литературы. С середины 1850-х и в 1860-е годы этот интерес несколько ослабевает.

В 1840-е годы, в пору становления и укрепления русской реалистической социальной прозы, Диккенс был одним из тех иностранных писателей, произведения которых помогали переломным русским писателям в выработке собственного художественного самосознания, помогали им создавать отечественный реалистический роман. В 1850—1860-е годы в русской литературе наступает пора расцвета реалистической прозы. Многие из произведений этих лет получили всемирное признание. Естественно, что в годы, когда в русской литературе накануне реформы и после ее осуществления шли жаркие споры о путях развития страны, романы Диккенса, хотя и продолжали читаться и вызывать горячий интерес, все же перестали играть в такой же мере, как прежде, роль творческого импульса для русских писателей. К тому же с конца 1850-х годов несколько ослабевает социальный пафос самого Диккенса, что и было отмечено русской критикой, продолжавшей,

¹ Ниже публикуются два фрагмента из работы покойного литературоведа И. М. Катарского (1919—1971) «Диккенс и Достоевский». Первая половина этой незавершенной работы вошла как глава «Диккенсовские мотивы в творчестве Достоевского 40—50-х годов» в монографию автора «Диккенс в России. Середина XIX века» (М., 1966, с. 357—401). Второй том исследования, куда автор предполагал включить другую половину работы, остался неосуществленным. Рукопись подготовлена к печати Ю. Д. Левиным.

однако, сочувственно встречать книги английского писателя, с которыми, по выражению «Современника», «так сроднилась русская литература».²

В сущности так же обстояло дело и для Достоевского (во всяком случае, после 1861 г.). Диккенс остался одним из любимых его писателей до последних дней жизни. На страницах романов и повестей Достоевского 1860—1870-х годов — «Преступление и наказание», «Идиот», «Вечный муж», «Бесы», «Подросток» — не раз будут всплывать диккенсовские мотивы и ассоциации. Имя Диккенса встретится и в публицистике Достоевского, в нескольких принципиально важных суждениях, высказанных в «Дневнике писателя». Больше того, в эти годы мы найдем и следы прямого влияния Диккенса на Достоевского.

И все же роль Диккенса для творчества Достоевского, как и для русской литературы в целом, в 1860—1870-х годах несколько ослабла. Непосредственное воздействие диккенсовских мотивов не будет теперь, как правило, распространяться на ведущие образы и мотивы произведений Достоевского.

Прежде чем обращаться к истории творческого освоения мотивов Диккенса в произведениях Достоевского 1860—1870-х годов, коснемся «внешней» стороны вопроса — свидетельств об интересе русского романиста в эти десятилетия к книгам английского писателя.

Романы Диккенса не только остаются незаменимой ценностью для самого Достоевского. Они, по его мнению, должны войти в круг чтения народа. Еще в 1861 г. в цикле статей «Книжность и грамотность», рассуждая о том, какие книги любит читать народ, Достоевский вынужден констатировать, что простой народ предпочитает читать лубочную литературу. Он рассказывает, что «производит эффект» лишь чтением «разных капитанов Полей, капитанов Панфилов». «Я думаю, — прибавляет с сожалением Достоевский, — Диккенс произвел бы гораздо менее эффекта, Теккерей еще менее...» (XIII, 143).

Находясь за границей, Достоевский охотно приобщает к чтению Диккенса свою жену. А. Г. Достоевская отмечала в дневнике, что в мае 1867 г. в Дрездене муж брал для нее в библиотеке «Лавку древностей» на французском языке (отказавшись от ошибочно выданного им «Давида Копперфильда», очевидно уже читанного Аппо Григорьевной) и «Николаса Никльби». А 31 мая (12 июня) она записала: «Пошли в библиотеку; здесь мы решительно ничего не могли выбрать, мы ничего не взяли... Нам указали другую библиотеку Schmidt'a в Moritzstrasse, но там Диккенса оказался только один роман, да и тот был в расходе».⁴

² Современник, 1853, № 11, отд. VI, с. 66.

³ См.: Дневник А. Г. Достоевской 1867 г. М., 1923, с. 100, 107.

⁴ Там же, с. 113.

Приведем несколько высказываний Достоевского о Диккенсе, относящихся к последнему десятилетию его жизни.

Е. А. Штакеншнейдер в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды в 1870-е годы Достоевский, едва оправившийся после припадка, жаловался на плохое самочувствие и добавил: «... а тут еще этот болван Аверкиев рассердил. Ругает Диккенса: *безделюшки*, говорит, писал он, детские сказки! Да где ему Диккенса понять! Он его красоты и вообразить не может, а осмелится рассуждать».⁵

А в письме к Н. Н. Страхову от 28 мая (9 июня) 1870 г. Достоевский вспоминал: «Давно уже, еще лет двадцать с лишком назад, при первом появлении „Армарки тшеславия“ в Англии, я зашел к Краевскому, и на слова мои, что вот, может быть, Диккенс напишет что-нибудь и к повому году можно будет перевести, Краевский вдруг отвечал мне: „Кто? Диккенс? Диккенс убит! Теперь там Теккерей явился, убил наповал; Диккенса никто и не читает теперь!“» (II, II, 272). Интересен контекст этого письма, из которого явствует, что воспоминание приводится как пример ошибочного суждения. Вот, мол, двадцать с лишком лет назад тоже делались поспешные выводы о «смерти» Диккенса. Однако проверку временем Диккенс выдержал, и до сих пор никого выше его не поставишь.⁶

Об этих годах сохранились и свидетельства дочери Достоевского. «Когда отец уезжал в Эмс или работа не позволяла ему делать это самому, он просил мою мать читать нам сочинения Вальтер Скотта и Диккенса — этого „великого христианина“, как он называет его в „Дневнике писателя“. Во время обеда он спрашивал нас о наших впечатлениях и восстанавливал целые эпизоды из этих романов. Мой отец, забывший фамилию своей жены и лицо своей возлюбленной, помнил все английские имена героев Диккенса и Вальтер Скотта, произведших на него впечатление в юности, и говорил о них как о своих близких друзьях».⁷

Эти воспоминания Л. Ф. Достоевской, относящиеся еще к годам ее отрочества, подкрепляются одним из самых поздних писем Достоевского. 18 августа 1880 г., отвечая на вопрос Н. Л. Озмидова, что же следует давать читать дочери, Достоевский, назвав

⁵ Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. (1855—1886). М.—Л., 1934, с. 462—463.

⁶ Заметим, что Достоевский хорошо знал и ценил Теккерей. Знал он и других английских реалистов середины XIX в. В 1849 г. он писал, что роман Ш. Бронте «Дженни Эйр» «чрезвычайно хорош» (II, I, 127). На страницах редактируемого им «Времени» были помещены два романа Э. Гаскелл («Мэри Бартон» и «Руфь»), причем первому из них была предпослана заметка от редакции, принадлежавшая перу Достоевского, которая начиналась следующими словами: «Печатаем этот интересный роман потому, что в нем живо очерчены быт и страдания рабочего класса в Англии» (XIII, 570).

⁷ Достоевский в изображении его дочери Л. Ф. Достоевской. М.—Пг., 1922, с. 90—91.

В. Скотта, Пушкина, Гоголя, Тургенева, «Дон-Кихота» и некоторые другие шедевры мировой литературы, настоятельно рекомендует: «Диккенса пусть прочтет всего без исключения» (II, IV, 196). Эта фраза следует непосредственно после слов о «высоком воспитательном значении» В. Скотта.

Аналогичным образом в письме от 19 декабря 1880 г. к другому корреспонденту, интересующемуся, как руководить чтением сына, Достоевский отвечает: «Берите и давайте лишь то, что производит прекрасные впечатления и рождает высокие мысли». Перечислив классиков русской и иностранной литературы, он добавляет: «Наконец, пусть читает Вальтер Скотта и Диккенс в переводах, хотя эти переводы очень трудно достать. <...> Диккенс и Вальтер Скотта можно давать уже 13-летним детям» (II, IV, 222).

Вспомним восторженный отзыв Достоевского о Диккенсе в июне 1880 г. на завтрак в присутствии многих русских литераторов. «Завтрак шел оживленно, — вспоминает А. И. Суворина. — Конечно, разговоры шли о литературе и о политике. Вдруг Ф. М. обратился ко мне с вопросом: как нравится мне Диккенс? Я со стыдом ему сказала, что я не читала его. Он удивился и замолчал». Неожиданно Достоевский называет Суворину «счастливейшей из смертных» и пылко развивает свою мысль: «Господа, счастливая Анна Ивановна еще не читала Диккенса, и ей, счастливице, предостает еще это счастье! Ах, как я бы хотел быть на ее месте! И снова прочесть „Давида Копперфильда“ п всего Диккенса». А затем добавил: «Когда я очень устал и чувствую нелады с собою, никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель!»⁸

Сопшемся, наконец, на черновые записи А. Г. Достоевской, которая рассказывает, что за три дня до смерти писателя происходил разговор, касавшийся театральной постановки Диккенса. «За обедом все время говорили о „Пиквикском клубе“, вспоминали все подробности, рассказывали ему, а затем я спросила, кто же был этот актер. „Мистер Джингль“, — сказал Федор Михайлович».⁹

2

Роман «Преступление и наказание» (1866) продолжает магистральную тему творчества Достоевского — тему жизни большого капиталистического города, трагических судеб его беднейших обитателей. Это «первое в русской классической литературе произведение большой эпической формы, в котором сделана попытка

подытожить, обобщить новые явления русской (городской) жизни, связанные с победоносным шествием капитализма».¹⁰

Роман в первоначальном замысле назывался «Пьяненькие». Это была горестная история, выдержанная в традициях «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных». Естественно, что диккенсовские мотивы легко могли проникнуть, да и проникли, именно в ту часть романа, которая в «Преступлении и наказании» стала сюжетной линией семьи Мармеладова. «Родись английский романист в России, — писал Дж. Гиссинг в своей монографии о Диккенсе, — он вполне мог бы быть автором большой сцены в начале книги, когда отец Соня, пьяница и членовещество, изъясняется перед нами в необычном монологе».¹¹

Действительно, образ нищего чиновника Мармеладова, оставшегося без работы, выдержан в диккенсовских тонах. В нем много общего с вечным должником Микобером (из «Давида Копперфильда»), и сходство это выражается не столько в общности некоторых внешних черт (например, витиеватой манеры обращения к собеседнику), сколько в общей тональности образа.

Вместе с тем очень существенно подчеркнуть глубокое отличие подхода Достоевского к своему герою. Дело в том, что образы Микобера и его семейства имеют комический оттенок, а Мармеладов и его семья трагичны. В «Давиде Копперфильде» Диккенс и не ставил себе задачей показать трагизм судьбы горемычного должника, как он это делал в других своих произведениях, изображая беспросветную нужду «пьяненьких» и их семей. Дело прежде всего в том, что трагический пафос образа Мармеладова далеко превосходит все созданное в той же области Диккенсом. Достоевский стремится до конца раскрыть существо той страшной унизительной пицеты, в которой оказывается человек. «Предоставить слово отцу для того, чтобы отец рассказал всему человечеству, как и почему его дочь не могла не стать проституткой, — для этого нужно было именно горькое и мстительное, всегда устремленное к предельному, окончательному обнажению безвыходности, проникнутое болью за человека дарование Достоевского. Такой степени обнажения горя, страдания, стыда и ужаса жизни человечества редко достигала мировая литература».¹²

Ту же предельную степень человеческих или, лучше сказать, нечеловеческих страданий изображает Достоевский в незабываемой сцене предсмертных мук Катерины Ивановны Мармеладовой, особенно в ее последних словах: «Что? Священника?.. Не надо... Где у вас линий целковый?.. На мне нет грехов!.. Бог и без того должен простить... Сам знает, как я страдала!.. А не простит, так и не надо!..» (6, 333).

¹⁰ Евнин Ф. И. Роман «Преступление и наказание». — В кн.: Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959, с. 138.

¹¹ Gissing G. Charles Dickens. A critical study. London, 1898, p. 222.

¹² Ермилов В. Ф. М. Достоевский. М., 1956, с. 156.

⁸ Достоевский и его время. Л., 1971, с. 299—300.

⁹ Цит. по: Гроссман Л. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. М.—Л., 1935, с. 319.

Кое-какие черты Катерины Ивановны, поверхностные и мало-существенные, непосредственно восходят к диккенсовской миссис Микобер. И все же произнести такие слова перед лицом смерти не могла бы ни одна из героинь Диккенса, да и — не будет преувеличением сказать — ни один из героев английского романа времен Диккенса — Достоевского.

Определяя новое слово Достоевского по сравнению с его предшественниками и современниками, сошлемся на интересное на блюдение Т. Л. Мотылевой: «Все герои Достоевского, принадлежащие к разряду „бедных людей“, „униженных и оскорбленных“, переносят печеловеческие лишения и нужду — как Оливер Твист, как Фаина из „Отверженных“, как персонажи „Западни“ Золя. Но главные их страдания заключаются не в бедности как таковой, не в материальных лишениях, а в непереносимых муках уязвленного человеческого достоинства. <...> И это сознание собственной придавленности, чувство своей социальной неполющенности в тысячу крат тяжелее для них, чем недостаток хлеба насущного. Ни один из писателей мировой литературы не передал с подобной потрясающей силой страданий оскорбленной человеческой личности».¹³

В этом один из существеннейших пунктов нового, реалистически более глубокого подхода Достоевского к образу. Диккенсовская тональность сказывается не в существе образа Мармеладова, а в некоторых особенностях лепки самого образа, подчеркивании той или иной преобладающей «странности». Диккенсовские мотивы являются обычно для Достоевского отправным пунктом, тем, что лежит в общем «на поверхности». Именно *первые*, внешние черты образа подчас напоминают нам аналогичные образы у Диккенса, но за внешним сходством сразу обнаруживается внутреннее различие. Так было с началом «сентиментального романа» «Белые ночи», так было с первыми страницами «Униженных и оскорбленных»,¹⁴ так обстоит дело и с началом второй главы первой части «Преступления и наказания», где появляется Мармеладов со своей исповедью.

Диккенсовские черты, свойственные образу Мармеладова и его семейства, дали возможность легко ввести в роман слегка видоизмененный эпизод из «Лавки древностей». В романе Диккенса адвокат Брасс, нечистый на руку делец, подбиваемый злобным ростовщиком Квиллом, от которого он зависит, незаметно подсовывает в шляпу мальчику Киту деньги, чтобы потом изблчить его воровстве и опозорить перед всеми. Совершенно аналогичным образом происходит дело и у Достоевского. Делец Лукин, желая во что бы то ни стало скомпрометировать Сою Мармеладову (мотив мести играет решающую роль и в том и

в другом романе), разыгрывая добряка, дает Сою десять рублей (Брасс также раньше преднамеренно делал небольшие денежные подарки Киту); затем, «хватившись» пропавших ста рублей, обвиняет Сою в краже. Деньги, разумеется, обнаруживаются в ее кармане.

Собственно, нет необходимости детально сличать эти эпизоды. Различие их подсказано логикой событий и образов каждого из романов. Так, например, в «Лавке древностей» находит эти деньги Дик Свивелтер (точнее, все подстроено так, чтобы этот простак свидетель натолкнулся на спрятанные деньги); а в «Преступлении и наказании» эта роль выпадает на долю Катерины Ивановны, которая, оскорбленная подозрением, в лихорадочном возбуждении выворачивает карманы Сонечки. Не даст собственно ничего для выяснения различия в подходе романистов к этому эпизоду, если мы остановимся на том, как и кем был обнаружен подлог и установлена невинность «преступника» (это подслушала «маркиза» у Диккенса и видел Лебезятников у Достоевского).

Важно одно психологическое обстоятельство, которое отличает этот эпизод у Достоевского. Образ человека, совершившего подлог, у него значительно тоньше и интереснее. Хотя Брасс у Диккенса и «законник», он ни на минуту не вызывает доверия у читателя. Лютый, плутоватый, а временами наглый (brass), он способен на любую подлость. Иное дело Лукин. Это, говоря языком диккенсовских романов, «вполне respectable джентльмен». Он суховат, корректен, очень рассудителен и расчетлив. Правда, он недостаточно толков: эгоизм отчетливо просвечивает сквозь его рассуждения о том, что, заботясь о себе, человек заботится о «всеобщем преуспеянии» (6, 116). И вот такой-то положительный и, казалось бы, безукоризненно опрятный в своем поведении джентльмен способен, как убедительно показывает Достоевский, на преступление. Раскрывая преступное существо натуры чистокровного буржуа, Достоевский обогащает социальную проблематику романа о преступлении.

Говоря о «диккенсовских» мотивах романа, мы касались лишь круга образов, который находится на втором плане. И это вполне закономерно. Мучительно сложный клубок социальных, этико-философских проблем, которые поставлены в романе о преступлении и наказании в связи с фигурой главного героя — Раскольников, проблем индивидуального самоволия, права человека на преступление и т. д., далеко вышел за рамки того, что могло бы иметь почвой или даже стимулом диккенсовский роман. Единственный аспект, в котором Раскольников может быть сопоставлен с диккенсовскими персонажами, — не социальный и не философский, а психологический. Английские критики указывали на большое сходство в том, как изображена психология убийцы у Достоевского (Раскольников) и Диккенса (Джонас Чезлвит — в романе «Мартин Чезлвит»), как показаны мучительные пережива-

¹³ Мотылева Т. Л. Достоевский и мировая литература. (К постановке вопроса). — В кн.: Творчество Ф. М. Достоевского, с. 24—25.

¹⁴ См.: Катарский И. Диккенс в России..., с. 366—368, 396—397.

ния человека, чье преступление разорвало его связь с людьми.¹⁵ Впрочем, на наш взгляд, мысль о воздействии Диккенса на образ Раскольникова остается довольно шатким предположением.

Д. Д. ОБЛОМИЕВСКИЙ

КНЯЗЬ МЫШКИН

Говоря о Мышкине как об «идеологе» романа «Идиот», как о носителе основной его идеи, нельзя не отметить, что он не относится к числу персонажей Достоевского типа героя «Записок из подполья», героя «Игрока», Раскольникова, являющихся людьми усиленной мысли, активного и высокого сознания. У князя Мышкина отсутствует какое-либо законченное теоретическое мировоззрение, все части которого были бы логически связаны друг с другом и вытекали одна из другой. У него нет завершенной системы принципов и мыслей, логически сформулированного отношения к действительности. Он ни в коем случае не может быть назван мыслителем в том смысле, в каком это слово приложимо к Раскольникову и герою «Записок». Более того, по своему духовному облику он самым решительным образом противопоставит людям теоретического склада, склонным к отвлеченности и абстракции. И в то же время князь Мышкин является человеком, имеющим свою, оригинальную, довольно твердую и устойчивую жизненную позицию. И эта его позиция могла бы вполне стать реальной основой целого мировоззрения, целой системы мыслей. Если он не переводит свои поступки и свое поведение в сферу логических выводов и итогов, то это объясняется тем, что он не придает значения мыслям самим по себе. Для него существенны поведение человека, его поступки, его действительное отношение к другим людям и к жизни в целом.

В характере князя Мышкина бросается в глаза в первую очередь его особый интерес и любовь к детям, его преклонение перед ними и восторг, который они у него вызывают. Князь Мышкин вспоминает с особой симпатией о своей жизни в Швейцарии именно потому, что он находился там «все время <...> с детьми, с одними детьми» (8, 57).

И во взрослых, при встречах с ними, князь Мышкин любит обнаруживать остатки детскости, в них сохранившиеся, радуется, открывая в душах окружающих следы их ранних лет. Князь и сам в своем поведении напоминает ребенка. С необыкновенной

наивностью внимания, совсем не скрывая этого, слушает он, например, все, что его интересует, и с той же наивностью отвечает на вопросы, которые ему задают. В его лице и даже в положении его корпуса отражается эта наивность, эта вера, не подозревающая ни насмешек, ни юмора. Он ценит детей и детское в людях взрослых именно потому, что в детях и в людях с реликтами детского возраста чувствует родную, близкую, подходящую для себя среду: «...я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими <...> не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети» (8, 63).

Что же ценит князь в детях? Какое содержание вкладывает он в понятие детскости? Основным является здесь практическая незаинтересованность и бескорыстность, полная доверчивость, т. е. отсутствие каких бы то ни было задних мыслей, скрытности, маскировки и горячее, взволнованное, непосредственное отношение к окружающему. Князь недаром подчеркивает у детей быстроту и произвольность перехода от одного состояния к другому. Они действуют не раздумывая, сразу, по первому импульсу. Вспоминая о своих встречах с детьми в Швейцарии, князь говорит: «...многие уже успевали подрагаться, расплакаться, опять помириться и поиграть, покамест из школы до дому добежали» (8, 64). Любопытно и сходство между детьми и птицами, которое устанавливает князь. Он говорит: «...когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и стыдливо, вам ведь стыдно ее обмануть! Я потому их птичками зову, что лучшие птички нет ничего на свете» (8, 58). Он имеет здесь в виду опять-таки детскую беззаботность, бескорыстность, незаинтересованность. Он как бы вспоминает евангельское изречение о том, что «птицы небесные не жнут и не сеют».

Детская сфера жизни является в представлении князя чем-то вполне противоположным и враждебным той жизненной и социальной сфере, в которой действуют Епанчин и Тоцкий, Ганя, Лебедев и Птицын. Это по преимуществу антибуржуазная область, область, свободная от корыстных инстинктов, от культа богатства, денег, от всяческой материальной заинтересованности.

Не случайно, что детскость в характере князя находится в тесной связи с его житейской непрактичностью, с его незнанием жизни. Князь сам признается в том, что он ничего не знает «практически ни в здешних обычаях, ни вообще как здесь люди живут». Он все время подчеркивает, что он «меньше других жил и меньше всех понимает в жизни». «Совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, бог любит», — бросает ему Рогожин (8, 14).

Но эта наивность и непрактичность князя не мешают ему быть необыкновенно проникательным и прозорливым во всем, что ка-

¹⁵ См.: Hulse B.-F. Dostoevsky for Dickensians. — The Dickensian, 1955, vol. LI, pt. 2, № 314, p. 68; Futrell M. H. Dostoevsky and Dickens. — English miscellany. A symposium of history, literature and art. Rome, 1956, p. 63—66.